

Зиновий САГАЛОВ

ГРАФИНЯ И КОРОЛЬ

Диалоги в двух частях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Соломон Михайлович Михоэлс
Анастасия Павловна Потоцкая-Михоэлс —
его жена
Мы будем называть их Он и Она

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Оформление сцены лаконично и условно. Стол, заваленный книгами и бумагами, и два кресла. Маски еврейского театра у порталов, плачущие и смеющиеся. Кое-где обрывки фото, театральных афиш.

Зловещим символом в эту театральную ауру врываются отпечатки колес грузовой машины — эти черные метки везде.

Стучит пишущая машинка. Появляются Актеры, Он и Она. В руках каждого из них листки бумаги. Их слова — в зал.

Он. «Михоэлс Соломон Михайлович. Настоящая фамилия Вовси. Родился в 1890 году в городе Двинске, ныне Даугавпилс, Латвия. Происхождение мелкобуржуазное. Образование незаконченное высшее (четыре курса юридического факультета Петроградского университета). Художественный руководитель Государственного еврейского театра, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии, профессор.

В ВКП(б) и других партиях не состоял».

Она. «Женат вторым браком. Жена Михоэлс-Потоцкая Анастасия Павловна. По непроверенным данным, из рода польских графов Потоцких. Связей с родственниками в Польше не поддерживает. По специальности биолог».

Он. «Имеет двух дочерей от первого брака — Наталью и Нину».

Она. «Жилищные условия — комната тридцать квадратных метров в общей квартире».

Он. «По данным наружного наблюдения, поддерживал дружеские отношения с врагами народа Бабелем, Мейерхольдом, Мандельштамом, Курбасом. Находясь в 1943 году в Соединенных Штатах Америки как председатель Еврейского антифашистского комитета СССР получил директиву от шпионско-террористической организации «Джойнт» об истреблении руководящих кадров СССР».

Она. «Дело Михоэлса. Совершенно секретно. Министерство госбезопасности СССР».

Стук пишущей машинки резко оборвался. Актеры удалились.

И сразу же — щемяще и тоскливо — запела скрипка. Появляется то ли скрипач, то ли мим — в черном трико, с набеленными щеками, легкий и воздушный, как сама мелодия. Мы еще не раз увидим его по ходу действия.

С первыми же звуками скрипки в глубине сцены возник освещенный лучом портрет Михоэлса. И тут же вышла Она. Теплая домашняя кофта или наброшенная на плечи шаль показывают нам, что Актриса уже вошла в свой сценический образ.

Он погиб для всех внезапно и, как все внезапное, эта смерть на какое-то время остановила дыхание людей, его знавших и любивших, изменила ритм их сердец... Всем и всегда он был нужен — своему театру, своему народу и, конечно же, нам — его осиротевшей семье... Вспоминаются его улыбка, его глаза. То печальные, то озорные. То безумные у короля Лира, то мудрые и лукавые у Тевье...

Садится за стол, перебирает лежащие на нем бумаги.

У Михоэлса было точное определение, каким рождается человек. Либо богатым, говорил он, либо нищим. «Ты понимаешь, Асенька,— вспоминаю я его слова, — если человек родился нищим, ему не помогут никакие сотни тысяч на сберкнижке, никакие машины, никакие облигации. Он все равно чувствует себя нищим, живет нищим, нищим и умрет. А вот другой рождается богатым, хоть за душой у него нет и гроша. Щедро живет, щедро помогает, дышит полной грудью. И богат он потому, что в душе его живет Бог. БОГатый — потому что в нем Бог...

Замолчала, задумалась. На портрет Михоэлса медленно наплывает темнота. Из глубины сцены выходит Он. Таким, наверное, Она вспомнила его сейчас — в грубом свитере, изрядно помятых брюках, в сплющенной кепке. На лице добрая, мечтательная улыбка.

Он. В детстве, когда я был учеником хедера, меня всегда занимала молния на небе.

Она. Молния?

Он. Мне казалось, что это трещина, через которую я, может быть, увижу его... Бога.

Она. И часто ты видел своего Бога?

Он (*с легким раздражением*). О, Голда-сердце, как сказал бы реб Тевье, разве я говорю мой Бог или твой Бог? Об общем нашем Боге говорю. (*Подходит ближе*). Вот ты, Астка, биолог и, следовательно, безбожница, тебе этого не понять. А мой дед и отец были хасидами, часами сидели над Талмудом и Торой. Как и все набожные евреи в нашем маленьком городишке Двинске... Представляешь—покосившиеся домики, грязь, кругом нищета, болезни. А люди веселые — живут, не унывают. Почему? Откуда такое поразительное сочетание вопиющей бедности с весельем? Разгадка пришла, когда я сам засел за святые книги. Тогда -то я и понял: цель еврейской религии утвердить оптимизм. Бог повелел, чтобы человек, несмотря ни на что, был весел и воспевал всюду свое веселье.

Она. Потому ты и стал комедиантом?

Он. А у меня два лица. Одно смеется, другое плачет. Учился у нашего бессмертного классика. Помнишь эпитафию, который Шолом-Алейхем поставил к своим произведениям? «Смеяться — здорово. Врачи советуют смеяться». И тут же добавил: «Но горе тому человеку, которому врач предписывает смех».

Оба смеются. Он лихо надевает картузик, в руке воображаемый стакан с вином. Чуть пошатываясь, делает несколько шагов. В глазах веселые, озорные искорки.

Он. Лехаим! Только по капельке! Еврей много не пьет! Лехаим! И дай Бог, чтобы евреи были евреями. Потому что еврей — это, знаете ли, не так просто!..

Она (*вскочила с кресла, радостно взволнована*). Реб Алтер! Реб Алтер!

Он. Ша! (*Почтительно склонив голову*). Дорогой реб Шолом-Алейхем, вы слышите, как любят вашего доброго книгоношу реб Алтера?

Вашего - нашего... Нашего - вашего... Тихо, ша! Думаете, я пьян? Еврей, сколько бы ни пил, всегда трр-езвый! Так вот, дорогой реб Шолом, вашим ребом Алтером открылся когда-то наш славный Еврейский театр. А артист Шлиомка Вовси — хорошенький такой, красавчик писанный — после этой роли стал Соломоном Михоэлсом. Вот так! (*Делает вид, что наливает стаканчик*). Буль-буль-буль... Лехаим! Реб Алтер желает вам здоровья и долголетия, если вы живы... А если Господь призвал вас к себе — тогда, извините и простите, — царствие вам небесное. (*Пьет*). Еврей водки не пьет, фи! Евр-рей пьет вино... И сколько бы он ни пил, он всегда... тррезвый! Тихо, спокой-но...

Делает немислимый пирует и валится на пол. О н а смеется, хочет помочь ему встать, но О н отказывается.

Евррей никогда... ик, ик... не бывает пьяным. Язык у него не заплетается... (*Пытается встать*). На ногах евррей крепко держится... (*С трудом ему удается встать*). Ходит прямо, как по струнке— ать-два. Не кренился ни туда, ни сюда. В твердой памяти. Потому что он еврей... (*Поет*).

Ай, Шмерл, где же скрипочка,
Ай, Берл, где твой бас?
Сыграйте эту песенку
Вы теперь для нас!

Пошатываясь, исчезает в темноте.

Она . Пусть никто не поймет меня неправильно, если я скажу: и в актерстве, и в режиссуре Михоэлс был гением самоучкой. Никто его не учил, он сам учился. В беседах с молодыми актерами он всегда повторял: «Научить нельзя. Научиться — можно», это его слова... Он пришел в театральную студию, когда ему было почти тридцать. Учился в университете, на юридическом факультете. И вдруг — вместо благополучной карьеры адвоката стал сперва студийцем, а потом актером только что открывшегося Еврейского театра. Первые пару лет получал зарплату... мебелью. Эти чудовищные «рокака», как называл он свои мебельные уникамы, я застала, перейдя к нему жить... Так вот, кто учил его играть? Кто учил его жесту прикосновения к отсутствующей короне в «Короле Лире»? Кто учил его поглаживать бороду Тевье, как будто борода продолжает мысль, зарожденную неизвестно кем, может быть, Богом? Жест был для него каким-то особым раскрытием самого себя, своего понимания роли. И можно только 'рассмеяться, если кто-нибудь заподозрит, что эти жесты он «ловил» на улице .Или я не права, Миха?

Появляется О н.

Он. А моего Шимеле Сорокера ты что, забыла?

Она. Портняжку, который выиграл двести тысяч?

Он. Ну да. Его-то я «поймал» именно на улице. Помнишь, как он шил?

Надевает на голову ермолку, вешает на шею сантиметр, садится по-турецки на коврик и начинает «шить». Пальцы его грациозно растопырены, глаз прищурен. О н нацеливается на воображаемую материю, режет ее ножницами, затем вонзает иглу и делает несколько стежков. Отставляет материю, горделиво оценивает сделанное и поджмивает губы.

Так вот... Гулял я однажды по улице Арбат. Вижу вывеску: «Мужской портной Моисей Натанович Шнейдерман. В Москве работаю 4 месяца в году. Остальное время в Париже».

Она смеется.

Зашел. Глянул он на меня поверх очков и говорит: «Вы не умеете носить вещи, я вам шить не буду». — «Но я ведь заплачу вам, Моисей Натанович». — «Не в этом дело, молодой человек. Я шью так, чтобы мою работу узнавали на улице. А вы изомнете брюки, утюжить не будете и что? Вся моя работа пойдет насмарку?» Я взмолился: «Моисей Натанович, ну хоть подмастерьем возьмите?» — «Вы хотите научиться шить? Мысль хорошая. Только не воображайте себе, что это так просто. Легче научиться играть на скрипке, как Буся Гольдштейн, чем пошить хороший костюм. Но я вижу, что вы бедный еврей, вам уже за тридцать — жена, киндерлах, нужны гелт. Что ж, давайте попробуем. Как сказано в Святом Писании: всякое деяние есть благо».

Рассказывая, Он продолжает «шить».

Она (*улыбаясь*). И выучил тебя?

Он (*гордо*). После премьеры режиссер сказал мне: «Шлиома, признайся, ты в детстве учился портняжному ремеслу?» (*Встает, прохаживается по сцене*). Но вообще-то, если серьезно, источник моей работы — скорее размышление, чем наблюдение. Когда меня спрашивают, из какого материала вы делаете ваши работы, я говорю: из Михоэлса. Да, да, я леплю их из себя. Из моих болей, страстей и радостей. И в тот котел, в котором я варю свои работы, я в виде специй, в виде приправ вкладываю все, что я испытал, что знаю. Но делаю образ не из всего себя. Как Бог создал Еву — из ребра Адама — так и я, отдаю образу только частицу себя. Беру ребро и делаю из этого ребра Еву. Надо быть выше и больше образа. Не сливаться с ним полностью. Вот в Художественном театре главное — живой человек. Некий Иван Иванович Иванов, живущий на такой-то улице, имеющий столько-то детей, такую-то жену и на носу бородавку. Это внешнее. Оно меня никогда не интересует, не озадачивает. Заглянуть внутрь человека, найти ту черту, которая собирает, лепит вокруг себя все остальные свойства его. Помню, когда режиссер дал мне роль Гоцмаха, он мне только сказал: «Знаешь, у него походка мягкая». И все. Грановский ведь не любил долго объяснять... Мягкая походка. (*Делает несколько легких, воздушных шагов*). У меня сразу же возникло ощущение, что Гоцмах вездесущ. «Гоцмах!» — «Я здесь!» Гоцмах! Гоцмах!

Она. Еврейский Фигаро?

Он. Возможно. Шут, скоморох, забавник, пересмешник! Он как сквозняк. А что такое сквозняк?

Она пожимает плечами.

Сквозняк, милая, это ветер, которому некогда!

Носится по сцене, поет.

Я дал вам три волосинки
Для колдовского зелья,
А вы мне вырвали пейсу,
Отдайте ее назад!
Моя вторая пейса
Теперь осиротела,
Моя вторая пейса

Быть может, овдовела.
Ай-ай-ай-ай!
Ай-ай-ай-ай!
Верните мою пейсочку назад!

Прыжки. Кульбиты. Убегает.

Она (*перебирает лежащие на столе бумаги, пытается найти нужный ей листок*).

Танцевал он самозабвенно. Знаменитая Анна Павлова, обучавшая его у станка, считала его лучшим своим учеником. (*Нашла, наконец, нужную ей бумажку*). Он говорил, вот моя запись: «Есть умницы, которые ходят по миру со страшно глупым телом. А нужно, чтобы умным было и тело человека. Чтобы весь человек был умным: рука умная, глаз умный, губа умная. Недаром говорят: «У него губа не дура». Все умное. И понимать нужно всем своим существом». (*Отложила листок, задумалась*). Во время гастролей в Берлине он так вошел в экстаз в танце, что порвал связки на ноге. Хотели дать занавес, отменить спектакль. Он не разрешил. Единственная просьба к товарищам — подводите меня к очередному выходу. А их было немислимо много! И его подводили, и он выходил, прыгал, плясал, пел... Скажете — чудо? Отнюдь. Магия рампы, ее гипноз, ее волшебная власть. «Выхожу на сцену, — говорил он, — и все, чем живу, для кого живу — уже не существует. Я — на сцене, и все! На сцене не помню ни тебя, ни детей, ни театра, ровным счетом ничего — я на сцене и не кончить мизансцену не могу...» Театр поглощал его целиком. Даже дома он всеми мыслями был ТАМ. На вопрос, когда же он работал, ответить можно только одно — всегда, непрерывно, за исключением нескольких часов сна. Это только обыватели считают, что актеры поздно встают... (*Засмеялась*). Вспомнила сейчас приемный экзамен в студию при театре. За столом приемная комиссия во главе с Михоэлсом. По очереди входят мальчики и девочки. Читают (почти все Маяковского), танцуют (почти все «яблочко»), отвечают на вопросы. «Как тебя зовут?» — спрашивает Михоэлс кудрявого юношу. — «Лева». — «Скажи, Лева, почему ты хочешь стать актером?» — «Таки я хочу поздно вставать». Члены комиссии смеются, Михоэлс кипит, но сдерживает свой гнев. «Ступай-ка, Лева, лучше в ночные сторожа. Выспишься уже там за милую душу!» У нас же день начинался под благовест телефонных звонков.

Появляется Он, в руках телефонный аппарат. Отчаянные телефонные звонки.

Он (*сняв трубку*). Да, это я... Миленькая, я вчера не смог дозвониться к вам. Передайте вашему папочке, что свет не без добрых людей. Да, двенадцать ампул пенициллина... Поезжайте в Институт физиологии, к директору института. Запишите: Лина Самойловна Штерн, академик. Скажете: от Михоэлса, с ней договорено... Перестаньте, не надо меня благодарить. Езжайте немедленно. (*Кладет трубку и несколько раз набирает новый номер*).

Она. Был ли еще второй такой дом, который одновременно был бы и проходным двором, как дом Михоэлса? Ни телефон, ни двери, ни время дня и ночи не могли служить препятствием для тех, кому был нужен Соломон Михайлович.

Он (*по телефону*). Здравствуйте! Говорит Михоэлс. Помните замечательные строки поэта: «Много просьб у любимой всегда, — у возлюбленной просьб не бывает...» Голубушка, вы всегда говорили, что любите меня. Теперь у вас есть исключительная возможность доказать вашу любовь. Догадались? Да, он лежит в Боткинской. По-видимому, запущенный рак, метастазы... Да, все понимаю. Я не совсем идиот и все-таки прошу. Надеюсь только на вас. Позвоните? Когда? Хорошо, мы дадим концерт у вас в клубе. Договорились, голубушка, до скорого!

Кладет трубку на рычаг, снова звонит. О чем-то возбужденно говорит, но слов мы не слышим.

Она. Люди осаждали его просьбами и дома, и по пути в театр, и в самом театре. Депутат, лауреат, известный человек, перед ним, дескать, все двери открыты. «Я обвешан судьбами», — говорил он, улыбаясь. Как-то я не сдержалась и спросила: «Ну как ты можешь все это вынести? Ведь если нормальный человек в день выслушает двадцать самых счастливых людей, он может сойти с ума от навалившейся на него информации. А если эти двадцать — самые несчастные? Как это можно вытерпеть?»

Она кладет трубку, подходит к Ней.

Он (тихо, убежденно, проникновенно). А кто же еще будет их слушать, если не я? Человек ведь рождается «старшим» или «младшим». Мы с тобой оба родились старшими. Почета в этом маловато, а вот силы нужны немислимые. Иногда, знаешь, мне кажется, что я один отвечаю за весь мой народ, не говоря уж о театре.

Крутит диск телефона. Говорит каким-то особым, доверительным и приглушенным тоном.

Это я, Михоэлс... Просто подаю голос.

Кладет трубку, ставит аппарат на пол.

Она. Такие звонки означали: у кого-то беда. Арестовали, посадили, расстреляли... Этими страшными словами был тогда пропитан воздух. Боже, как мы еще умудрялись дышать? Исчезли Бабель, Мандельштам, Михаил Кольцов. Кто следующий? Каждую ночь он ожидал, что придут и за ним. И все же — не мог оставаться в стороне. «Набери мне номер такого-то, — говорил он мне. — Кажется, нужно подать голос». Ни он, ни я не знали тогда, что телефон наш давно уже был на прослушивании, и каждый звонок пополнял заведенное на Лубянке «Дело Михоэлса». Но об этом после, после...

Он (подойдя к столу, ерошит рукой бумаги). Никак мемуарчики пишешь?

Она. Ключки воспоминаний. Хочу восстановить живую атмосферу на планете «Михоэлс».

Он (поморщился). Замахнулась, однако... Планета... Уж лучше бы сказала «астероид».

Она. Почему?

Он. Претензий меньше. И окончание нравится. Прислушайся: астероИД! О, ид! Ясно? Пиши так: родился в Двинске, умер в Минске. И вся биография. И рифмочка удалая, правда? Знаешь, меня всегда очень беспокоило: что я оставлю в наследство тебе и детям? Комнату в коммуналке? Орден Ленина на бархатной подушечке? Книжки?

Она (с улыбкой). А свистки?

Он (хлопнув себя по лбу). Точно!

Она достает с книжной полки деревянную шкатулку.

Она (в зал). Была у него такая привычка: чуть что не нравится — четыре пальца в рот и — оглушительный свист! Друзья, зная эту слабость, постоянно дарили ему свистки. Милицейские, спортивные, всякие...

Он (достает из шкатулки свисток). Это Леня Утесов подарил. (Тихонько свистит, лицо сияет. Берет другой). А это Козловский. (Свистит). Тенорком поет, да? А этот, по-моему, от Алексея Толстого...

Она. Помнишь, как ты в Кремле учудил? На торжественном приеме? Чудом не заграбастали.

Берет из шкатулки свисток и дует в него.

Он. Дурак какой-то толкал речь... (*Выводит свистком длиннейшую руладу*). На столах напитки, вкуснота всякая, слюнки текут. А он все нудит и нудит: партия указала, партия приказала... Вот я... (*Тихонько свистит*). Еле-еле, правда...

Она. Хорошо — друзья тут же увезли. Не понимаю, Миха, откуда у тебя, сына хасида, такая блатная привычка? Свистеть!

Он. Душа свистит, Астка. Ей иногда отсвистеться охота. (*Короткий свист*). Понимаешь?

Она (с улыбкой). Понимаю.

Отвечает ему тоже свистом.

Он. И все же оставлю тебе наследство! Знаешь, что? Свой юмор и обаяние. Ведь я до того хорошенький, что без слез смотреть на меня нельзя!

Заложив четыре пальца в рот, по-хулигански свистит и церемонно, паясничая, уходит.

Она. (*проводя его взглядом*). Юмор и обаяние... В первые дни нашего знакомства — это было в Ленинграде — Михоэлс предложил мне «прощально пообедать». Моя командировка кончалась — я приехала в Ленинград на научную конференцию по онкологии, а Соломон Михайлович должен был ехать с театром дальше на гастроли. Когда я пришла в указанный час, Михоэлса еще не было. Пять минут, десять...

Собиралась уже уходить, как вдруг является — запыхавшийся, выбритый, пахнущий парикмахерской. «Вы уж извините, говорит, дорогая моя, но для моей красоты всегда нужны лишние полчаса». Он всегда остро чувствовал свою некрасивость, преодолевая свою внешность как огромную беду. Хотя люди, знавшие и любившие его, вспоминают его лицо как необыкновенное, неповторимое. Один из его будущих друзей, увидев его впервые, писал... (*Находит листок бумаги, читает*). «Низкорослый, худощавый, на редкость некрасивый, с отвисающей нижней губой, с приплюснутым, хотя и с горбинкой носом, с уже редющими на высоком лбу волосами и торчащими на висках вихрами... Экое обаяние в этом уроде, — внезапно подумал я»... Как бывало больно за него в трамвае, в автобусе, где случайные пассажиры начинали перемигиваться и подсмеиваться, а Михоэлс это видел и чувствовал каждой клеткой своего нутра! Как часто в таких случаях во мне вскипала дикая злость — кажется, поубивала бы их за эти идиотские, ранящие его ухмылки. Никогда, по-видимому, он не мог забыть своих детских обид, отравлявших его мечту — быть прекрасным, высоким, красивым — ведь именно эти черты являются пропуском на сцену. Можно представить себе, что пережил Михоэлс, когда самый расположенный к нему учитель Велижев говорил: «Все у вас есть, но с такой внешностью, с этим ростом и на сцену?! Ну кого вам играть?». «Кого? — невозмутимо ответил Михоэлс. — Да хотя бы короля Пиппина Короткого!». Какая сила воли, какое неудержимое стремление выйти на сцену, какая вера в себя помогли Михоэлсу преодолеть все препятствия — преодолеть юмором, шуткой, веселой и беззаботной улыбкой! Помню, одна из его самых любимых актрис Фаина Раневская сказала ему: «Соломон Михайлович, в вас есть Бог!» Михоэлс улыбнулся и, не задумываясь, ответил: «Фаиночка, дорогая, если во мне и есть Бог, то, очевидно, потому, что он находится в ссылке».

Встала, вышла на авансцену. Легкая лирическая музыка.

Да, был тогда Ленинград, начало июля, волшебные голубовато-белые ночи и новый знакомый, неожиданно ворвавшийся в мою судьбу. Как не похож он был на тех вылощенных пижонов, которые вертелись вокруг меня! А свел нас царь-случай. Я сидела в ресторане гостиницы «Европейская», а он зашел после спектакля поужинать. И сел случайно за мой столик.

Появляется Он.

Он (*улыбаясь*). Случайно? О, святая простота!.. Ее глаза, зеленые, прозрачные, мигом притянули меня к себе. Только я вошел в зал... Каким-то колдовским магнитом...

Она. Михоэлс? Разумеется, я слыхала это имя, хоть и не была театралкой. Сперва я была поражена: как может актер иметь такую внешность? Но новый мой знакомый сыпал шутками, анекдотами, через несколько минут я уже неприлично громко хохотала. И уже не замечала ни его приплюснутого носа, ни разлохматившихся кудрей. Лишь высокий сократовский лоб мудреца и глаза — смеющиеся, добрые, ласковые. «Потоцкая?» — удивился он, когда я назвала свою фамилию.

Он. Уж не графья ли Потоцкие ваши предки?

Она (*таинственным шепотом*). Если вы не наступите в НКВД, то «да».

Он (*тоже тихо*). Буду нем как рыба... ваша светлость.

Церемонно кланяется.

Она, смеясь, отвечает ему поклоном.

Она. Честное королевское?

Он (*по-блатному*). Гад буду.

Негромкая ресторанная музыка — наверное, танго. Они танцуют — хотя и раздельно, каждый сам по себе, но кажется, что это пара.

Она (*в зал*). Утром я пришла к нему на репетицию. На гастролях он продолжал работать над «Королем Лиром». Смылась с конференции, запыхавшись, прибежала в театр, ощупью нашла место в темноте зрительного зала. Михоэлса на сцене не было.

Он. Какие великие Лире были до меня — Цаккони, Сальвини, Росси! Знаменитый актер Барнай написал целую книгу о Лире. С указанием, как вести себя на сцене. В таком-то месте, писал он, надо поднять голову и выйти очень гордо, в таком-то надо свысока, с презрением посмотреть на партнера и резко повернуться к нему спиной и т. д. Одним словом, каждое движение Лира должно быть пронизано внешним величием и презрением к окружающим... Мог ли я поставить себе такую задачу? Рост у меня небольшой, невзрачный, и быть внешне величественным было бы мне недоступно. Я предпочел исходить из своих возможностей... Решил, что у Лира, например, не будет бороды. Она скрывает половину лица актера и ничего к нему не добавляет. Только мешает играть... Для меня же самое важное — связь между лицом и руками. Ведь только руки и лицо человека не прикрыты костюмом, обнажены. Все остальное скрыто. Эта связь между руками и лицом становится определяющим приемом. Когда я нахожу эту связь, я чувствую себя, как дома, и мне кажется, что самое основное найдено.

Набрасывает на себя мантию, по-стариковски сгибается и, шаркая ногами, делает несколько шагов.

Он (*в образе Лира*).

Не смейся надо мной. Я — старый дурень
Восьмидесяти с лишним лет. Боюсь,
Я не совсем в своем уме. Признаться,
Я начинаю что-то понимать...
Своей одежды я не узнаю,
Где я сегодня ночевал, не помню.
Пожалуйста, не смейтесь надо мной!
Поспорить с вами я готов, что это —
Дитя мое — Корделия.
Она (*подыгрывая*). Да, я!
Он. Что это, слезы на твоих щеках?
Дай я потрогаю. Да, это слезы.
Не плачь. Дай яду мне. Я отравлюсь.
Я знаю, ты меня не любишь...
Она. Нет, нет!
Он. Не будь со мной строга.
Прости. Забудь. Я стар и безрассуден.

Левой рукой О н проводит по непокрытой голове и с недоумением обнаруживает, что короны на ней нет.

Она. Репетиция шла на идиш, я не знала ни одного слова, но эта рука, ищущая утраченную корону... Я думаю, любой человек Земли — и папуас, и эскимос — поняли бы этот выразительный жест...

Пауза. О н сбрасывает мантию, подходит к Н е й.

После репетиции мы вышли вместе. Бродили по Невскому, по набережным Невы.

Он. Я сегодня так счастлив: вы, Шекспир и Ленинград — в один день!

Она. Это были самые прекрасные часы моей жизни. Михоэлс был полон Шекспиром, рассказывал, как он пришел к «Лиру».

Он. В театре я играл в основном комедийные роли. Любил выкинуть коленце, посмешить публику. Стоило мне появиться на сцене, зал начинал смеяться. Правда, в каждой комедийной роли я старался уловить какое-то трагедийное звучание. Но чистой трагедии я боялся. Еще в годы ученичества я скандально провалил роль Уриеля Акосты. Как ни пыжился я, как ни старался придать своему герою ореол величия — говорил белым голосом, царственно вздымал руки — и что же? Высокая трагедия вызывала смех. Помню, один критик писал: «Чудесный актер Михоэлс, но ему нельзя играть Уриеля. Для этого у него нет ни голоса, ни внешности, ни фигуры».

Она. И все же осмелился взяться за «Лира».

Он. Пришел к нему через горе, через свою большую беду. Два года назад, за очень короткий срок я потерял двух бесконечно любимых женщин.

Она. Горестная тень недавних утрат омрачила его лицо. Будто тот человек, который смешил меня веселыми анекдотами и байками, остался там, в ресторане. А здесь, на улице, прижимая мой локоть к себе, был другой, которому не терпелось высказаться, излить то, что таилось в душе... И кому? Мне? Случайной встречной? Или он инстинктивно почувствовал во мне человека, которому можно довериться, родственную душу?

Он. Сара, мать моих девочек, скончалась от болезни почек. Когда-то в детстве, катаясь на коньках, она подвернула ногу и больно, спиной, ударилась о лед. Травма оказалась роковой. Ей

было всего тридцать два года...

Она. За первым ударом судьбы тут же последовал и второй. В театре была женщина, которую он безумно любил, актриса. Его вдохновительница, его муза. В том же году, через несколько месяцев после смерти жены Соломона Михайловича, скончалась и она. Неожиданно, после спектакля, на руках потрясенного, рыдающего Михоэlsa.

Он. Это была Божья кара. За Сару, за обман, за измену семье. Как библейский Иов, я видел перед собой лишь суровые очи Всевышнего. «Душа моя желает, Господи, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?» Как жить дальше? Выходить на сцену и играть свои старые роли было невыносимо. *(Поет, кривляясь).* «Моя вторая пейзаж теперь осиротела!..». Смех зрительного зала кровавил сердце. «Люди, почему вы так беззаботно смеетесь?» — думал я, делая умопомрачительные кульбиты и потешая публику. «Зачем собака, лошадь, мышь — живут, а ты не дышишь? Ушла от нас навек, навек, навек...». Постой, кто так сказал? Ах, да, Лир, оплакивая мертвую Корделию. Скорбный лик великого старца выплыл из тьмы времен.

Всем сердцем я ощутил горечь его утрат. «Нет, нет, к черту? — убеждал я себя. — Не хочу быть шутком и паяцем! Брошу театр, уйду! Хоть сборщиком утиля, хоть страховым агентом!». Друзья говорили: тебя спасет только работа, возьми за «Лира». Опять этот «Лир». Как наваждение, как рок. Но и другие голоса были. Поглядите, мол, на себя в зеркало, не кощунствуйте — какой вы король? Играйте себе ваших еврейчиков и не оскверняйте Шекспира.

Она. И как же ты решился?

Он. Заядлый я, понимаешь! Хочу быть королем — и буду! Вы видели сегодня сценку. Ну что?

Она пожмает плечами.

(С тревогой). Вы что? Скверно? Не дай Бог завалить! Смерть! Давайте проверим.

Она. Как?

Он. Есть надежный способ. Вон, на углу Литейного, машина. Видите? Подойдем к ней. Если сумма чисел на номере нечетная, грандиозный провал, финита ля комедия!

Она *(хлопает в ладоши).* Урра! Девяносто четыре! *(В зал).* Номер не соврал — спектакль имел мировую славу. Побывав на нем, известный английский режиссер Гордон Крэг сказал: «Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира на театре. Потому что там нет такого актера, как Михоэls». *(Ем у, игриво-шутливым тоном).* А вы, оказывается, суеверны, Соломон Михайлович.

Он. Есть грех, графиня. Впрочем, как все актеры. Верю в талисманы, числам верю, снам. И, признаюсь вам, до ужаса боюсь цифры тринадцать.

Она. Вам должно быть стыдно, ваше величество. С предрассудками надо бороться.

Он. И борюсь. Назло судьбе выбрал себе постоянное место в театре — кресло номер тринадцать.

Она *(в зал).* И судьба отомстила. Убили его именно тринадцатого числа.

Он. В числа буду верить, хоть убейте. Вон еще одна машина. Если чет, станете моей женой.

Она. А если «нечет»?

Он. Все равно станете.

Она. Сумма цифр была сто двадцать два.

Он. Я, конечно, старик...

Она. Он был на семнадцать лет старше меня...

Он. И не писанный красавчик, но...

Она *(выжидательно).* Но?..

Он. Знаете, был такой известный еврейский философ Мендельсон. Настолько уродливый, горбатый, что даже я по сравнению с ним выглядел бы Аполлоном. И вот этот Квазимодо приходит к самой красивой и очаровательной девушке Берлина и предлагает ей стать его женой. Девушка, конечно, ужаснулась. Но умнейший Мендельсон сказал: «Как вам известно, прежде чем отправиться на Землю, души предстают перед лицом Господа. Моя душа тоже, конечно, явилась к Всевышнему. И Бог заявил мне: ты будешь таким прекрасным, что равного тебе во всем мире не будет. Зато жена твоя будет уродливая, горбатая, но потрясающе умная. Тогда я взмолился и сказал: беру на себя уродливость, оставь мне, Господи, только ум. А вот жена моя пусть будет прекрасной...» Вы поняли, графинюшка, кому вы обязаны своей необыкновенной красотой? Вашему покорному слуге.

Она. Последняя ленинградская ночь пролетела как одно мгновение. Было шампанское, стихи, дивные головокружительные слова. Вечером я уехала в Москву. Через несколько дней он прислал мне письмо. *(Берет со стола почтовый конверт, вынимает из него несколько сложенных вчетверо листков бумаги).* Да не письмо, а поэму в прозе...

Он. Астка, Астка, Асенька, Асик, Асточка. Начинается на «А» и так и является для меня, моей жизни, моего дня и ночи началом начал, сердцем моим. Когда произношу твое имя, в груди становится полно, до тесноты...

Она. Астка! Это утро, первое пробуждение. Это день, в который брошена была моя мысль, это — вечер с его первых сумерек до густого мрака замирающего неба... Это ночь, моя ночь, с прерывистым сном, тревожным сном. И явь, и сон — это Астка...

Он. Глаза твои часто касаются самого дна, хотя глубина их бездонна. И волосы твои кончаются одной завитушечкой сбоку, хотя ничего более непокорного я не видел. В них весна и протест. Губы твои — ласковы, нежны и часто жестоки в поцелуе и слове. И Тело Твое мудро, как Твой свежий, высокий и острый ум. И вся Ты — то, чем живу, и чего хочу и чего никому никогда не отдам. *(Уходит).*

Она. Астка — и для тебя эти сто страничек. Хотя их у меня для тебя гораздо больше. Ими полон мозг, глаза, уши и то, что отдано и посвящено Тебе. И ничего нежнее и жесточе я не знал в моей жизни, как моя любовь к Тебе, к Астке, жене моей... *(Отложила письмо, в зал).* Через несколько месяцев, после приезда театра с гастролей, графиня Анастасия Потоцкая стала женой короля еврейской сцены Соломона Михоалса.

*Вальс. Она, счастливая, кружится по сцене.
Затемнение.*

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Та же обстановка. Выходит Она.

Она. Не помню точно, через месяц или полтора после гибели Михоэлса, раздался резкий звонок в дверь. Для своих существовал условный звонок — один длинный, два коротких, а это был обычный. Я быстрым шагом подошла к двери (а в голове мысль: иду на эшафот, что будет с детьми?). За дверью пожилой человек в форме милиционера. Не переступая через порог, поставил на пол чемодан, распишитесь. Отдал честь и ушел. Я позвала Галу и Нину, дочерей Соломона Михайловича. Перетащили чемодан на кресло, открыли... Сверху лежала бумага: «Список вещей, найденных у убитого Михоэлса». На воротнике шубы — капли застывшей крови. Шарф Соломона Михайловича, тоже с кровавыми пятнами. Сломанная трость, часы... Они остановились в 8.40 утра. Все поплыло перед нашими глазами.

Появляется О н. Вид торжественный — черный концертный костюм, галстук, белая сорочка. Улыбается.

На дне чемодана лежал его парадный костюм. Ведь он ехал в Минск как представитель Комитета по Сталинским премиям. *(Ему)*. Тебе так не хотелось ехать, я ведь чувствовала это...

Он. Хотелось — не хотелось... Надо, вот и весь разговор. Два спектакля выдвинуты на премию, их посмотреть нужно?

Она. Костюм я отгладила, не помни в дороге. Орден прикрутить?

Он *(подумав)*. Оставь дома, целее будет. А вот из карманов ничего не вытряхивай.

Она *(в зал)*. В карманах костюма, который лежал на дне чемодана, было полно всякой всячины — зажигалки, какие-то бумажки и, как обычно, «талисманы». Суеверный, как ребенок, он так верил в их всемогущество! Увы, в Минске они оказались бессильны. Он был мрачен, уезжал тяжело — неужели предчувствовал что-то?

Он *(с виноватой улыбкой)*. Смеяться будешь, Астка. Такой дурацкий сон снился — две ночи кряду. Будто накинулись собаки и рвут на части.

Она *(удивленно)*. Собаки? Да ты ведь их так любишь.

Он. Ага... Еще с детства. У меня в Двинске дворняжечка была — хроменькая, невзрачная, Миртой звали. Умнейшее существо. Дрессировал я ее, цирк показывал. А ночью как прилетит ко мне под одеяло... И все же, к чему сон-то? Ты ведь умеешь их разгадывать. Нехороший? Не к добру?

Она. Забуди его. Скажи: куда ночь, туда и сон. *(В зал)*. Накануне отъезда заехал к нескольким друзьям и знакомым — попрощаться. Сколько раз уезжал на гастроли — никогда не прощался, а тут... Обошел все гримерные в театре, пожал руку каждому актеру. «Вы же не навеки уезжаете, Соломон Михайлович», — недоумевали они. «Не знаю, не знаю», — загадочно улыбаясь, отвечал он. Неожиданно для меня, перед самым отъездом на Белорусский вокзал, зашел домой. «Я ведь тебе отправила в театр и билеты, и деньги. Чего это ты?»

Он. Вспомнил, графинюшка, что мы с тобой не попрощались.

Она *(легко, с улыбкой)*. Ну и что, ведь скоро встретимся.

Он. Думаешь? Ну, конечно, конечно... *(Помолчав)*. Я только хочу, чтобы ты записала мой маленький рассказ о скрипке.

Она. Сейчас?

Он. Ну да... Помнишь, тот, который я хотел вставить в спектакль «Фрейлехс», но не получилось. Пиши, жаль, если пропадет...

Она берет лист бумаги, приготовилась писать.

Так вот... Иногда на душе накопится столько, что словом не выразишь. Тогда появляется песня. А уж если и голос певца не выразит всего, тогда человек обращается к ней...

(Прилаживает на плече воображаемую скрипку, пробует струны и, наконец, взмах смычком — и запела, заиграла скрипка). Царь Давид на скрипке псалмы слагал. Он и открыл нам секрет своего искусства: «Все кости мои разговаривают, все кости мои поют»... Нет нужды в костях сегодня. Печи Майданека и Треблинки их создали вдоволь. Если эти кости заговорят, всех скрипок на свете не хватит... Но не о том я... Вижу человека... Он всегда молчит. Если и может говорить, то разве только петь скрипкой... Позвали его играть на свадьбу. И скрипка была настроена, и песня была готова. Но, придя на свадьбу, он увидел невестой другого ту женщину, которую любил. И скрипка была разбита... Записала?

Она. Дальше-то что?

Он. Все.

Она *(смущенно)*. Извини, но я как-то... В чем смысл?

Он *(медленно выходит на авансцену)*. Народу надоело играть на чужих свадьбах. Хочется сыграть на своей, в своем доме, на своем празднике. Помнишь мой спектакль «Фрейлехс»? Сначала похороны, горе, а потом — свадьба. Весной будет большой праздник у евреев всего мира. После наших слез и горя скрипка будет петь в своем доме, вот увидишь. В своем! *(Уходит)*.

Она. Он улыбнулся, обнял меня и — ушел. Навсегда...

Скрипка смолкает. Она в задумчивости.

В своем доме. Много позже я поняла, что он имел в виду. Истек британский мандат на Палестину. Генеральная ассамблея приняла решение о создании еврейского государства. Его еще не было на карте, но на московских кухнях только и разговоров было, что об этом. Шепотом, конечно, тайком, зная, что и стены имеют уши. А вот Михоэлс... Был творческий вечер Еврейского театра в Политехническом музее. Михоэлс выступал в конце. Вместе со своим вечным партнером Зускиным. Как сейчас вижу: выходят на сцену два смешных заскорузлых человечка из спектакля «Путешествие Вениамина Третьего», жители захолустной деревни Тунеядовки, которые задумали найти дорогу в Землю обетованную.

Появляется Он — поверх костюма наброшена ветхая накидка, на голове ермолка. Неузнаваем — жалкий, сгорбившийся, локти прижаты к телу. В руке дорожная котомка.

Он *(в зал, дробненьким, надтреснутым голосочком)*. Всю свою жизнь, то есть вплоть до того времени, как я задумал совершить свое великое путешествие, я провел в Тунеядовке. Здесь я родился, здесь воспитывался, здесь же в добрый час и сочетался браком с женой своей благочестивой Зельдой, да пошлет ей Господь долгие годы! В узелке у меня все необходимые в дороге вещи: талес, филактерии, молитвенник. А в кармане — целых пятнадцать грошей, которые я утащ... взял взаймы у жены моей Зельды, из-под подушки... Ну, друг мой Сендерл, с правой ноги, Бог нам в помощь, вперед!

Бодро шагает, оставаясь на месте. Музыка. Время от времени вытирает пот со лба, переводит дыхание. И, переложив котомку в другую руку, продолжает идти. (Проставив ладонь ко лбу, пристально глядится в даль). Скажи, Сендерл, друг мой, знаешь ли ты, что находится по ту сторону Тунеядовки?

Она *(подыгрывая)*. Знаю, Вениамин, там находится корчма, где можно иной раз хватить

лишнюю рюмку водки.

Он (*со снисходительной усмешкой*). Глупый ты! А дальше? Гораздо дальше?

Она. Дальше корчмы? Нет, дальше я ничего не знаю. А ты, Вениамин, знаешь?

Он. Знаю ли я, что за вопрос! Конечно! Там только и начинается мир.

Она. Что же там такое?

Он. Там заветные места, Сендерл. Там — страна Израиля. Хотелось бы тебе там побывать?

Она. А тебе?

Он. Вопрос! Идем со мной, Сендерл, и вскоре мы будем там, в земле обетованной!

Продолжает шагать, размахивая узелком.

Она (*в зал*). И вдруг!..

Резкий музыкальный аккорд.

Он отшвырнул узелок, сбросил накидку и ермолку, выпрямился и вышел на авансцену.

Протягивает руки залу.

Он. Друзья мои, мой герой, мечтатель и фантазер Вениамин Третий, отправившись на поиски Земли обетованной, спрашивал встречных: «Где же она, святая наша земля? Куда дорога на Эрец Исраэль?». Сегодня каждый еврей знает: Палестина — вот где наша святая земля!

Скрипка ликует.

Она. Боже, что там началось! Шквал рукоплесканий! Люди повскакивали со своих мест, что-то кричали, целовались, кто-то запел. (*Ему*). Ты стоял бледный как стена.

Он. Не ожидал...

Она. Как ты мог на такое решиться? Ты ведь Соломон мудрый. Мудрый...

Он. Может, потому и решился. (*Очень проникновенно, доверительно*). Девочка моя, Астка... Только тебе могу сказать. У еврейской культуры здесь, в Эсэсэрии, нет будущего. Сейчас нелегко. Но будет еще хуже. Мне многое известно, а еще многое предвижу.

Она. Погоди, Миха. Есть твой театр, выходят книги на еврейском языке, стихи, романы.

Он. Для кого? Евреи забыли свой язык. Их заставили его забыть. Закрыли еврейские школы, газеты. Ко мне в театр приходят одни и те же старики — их с каждым годом все меньше и меньше... А молодые — они стыдятся быть евреями.

Она. Если судить по тебе, никто евреев не притесняет. Народный артист, депутат, орденосец, лауреат Сталинской премии, председатель Еврейского антифашистского комитета, член прези...

Он. Остановись! Ты рассуждаешь, как он!

Она. Кто?

Он мигом преображается в «вождя всех времен и народов», степенно покуривает трубку, расхаживает по сцене. Ей смешно.

Он (*с кавказским акцентом*). Антысемьтызма нэт и нэ может быть в нашей советской стране. Антысемьтызм в СССР является тягчайшим государственным преступлением. Наши советские жи...жи... Гм... я хотел сказать «евреи» обрели благодаря моей мудрой марксистско-ленинской и немножко сталинской политике широкие возможности для постепенной самоликвидации. Возьмите, например, нашего уважаемого генацвале и дорогого нашего ребе Соломона Михайловича Михоэlsa. (*Резко, своим обычным голосом*). К черту! Он сделал из

меня ширму, за которой творятся мерзости против моего народа! В самом деле, какой антисемитизм, это ведь выдумки сионистов? Не принимают Сарочек и Абрамчиков в вузы? Выгоняют евреев с работы? Да пойдите же на Малую Бронную, купите билет в Еврейский театр и товарищ Михоэлс на чистом еврейском языке убедит любого и каждого, что еврейского вопроса в Советском Союзе нет и быть не может. Вот для чего он осыпал меня своими ласками, почестями и наградами. Нет, нет! «Ни меда мне твоего, ни укуса!» Ширма рухнула там, в Политехе. Не мог я больше играть эту подлейшую и самую трагическую роль из всех моих ролей.

Она. Тебе это аукнется, Миха.

Он. Знаю. Но подзаборной моськой быть не хочу.

Она. Постой. Сколько времени прошло с того вечера в Политехе? Дней десять, да? Не с этой ли целью тебя отправили в Минск?

Он. Вполне возможно. Подбирались давно. Следили за каждым шагом. И в театре, и в комитете сексоты. А сколько записок с угрозой меня убить. Я просто не показывал их тебе. А «Вениамин» в Политехе... Да, Он был последней каплей.

Она. То, что произошло в Минске, до сих пор покрыто мраком. Хотя многое прояснилось.

Он. Иначе и не могло быть. Ведь сказано же в Писании: «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы; и тайного, что не стало бы явным».

Она. Ты... помнишь... свой последний день?

Он садится в кресло, долго молчит.

Он. Смотрели спектакль, выдвинутый на премию — «Константин Заслонов». Зашли в ресторан, пообедали. Затем... Ага, вернулся в гостиницу, часок покемарил. На вечер была назначена встреча с актерами минских театров. Вдруг — звонок. Незнакомый голос. Говорит по-русски, но с еврейским акцентом. «У моей дочери свадьба, Соломон Михайлович. Умоляю вас, вы осчастливите всю нашу семью, будьте нашим почетным гостем. Заеду за вами, куда и когда прикажете».

Она. Подлая провокация... И дальше, Миха?

Он молчит.

Ты встречался с актёрами, отвечал на вопросы? В карманах твоего пиджака я нашла массу записок.

Аплодисменты. Он весь преобразился — быстро, молодо встал с кресла, вышел на авансцену, прижал в знак приветствия руки к груди. На лице улыбка. Вынимает из кармана сложенную треугольничком записку.

Еще одна записка. (*Читает*). «Вы приводили нам в пример свои роли — короля Лира, Тевье-молочника. А как быть, когда играешь небольшую роль? И в ней одно или два слова?» (*Кладет записку в карман*). Вдумайтесь, друзья, что такое слово в тексте? В реке много рыбы. Вы забрасываете удочку и вылавливаете одну рыбку из огромной стаи. И вот слово подобно рыбе, внезапно вытащенной из огромного количества слов, которые там, в тексте — текут. И нужно, чтобы это слово трепетало, как рыба, только что вырванная из своей стихии. Одно и то же слово может передать целую гамму чувств. Вот идет по театру рабочий сцены, здороваются с актерами. Он говорит только одно слово: «здравствуйте». Но вы легко можете догадаться: вот навстречу идет актер, которого он признает. (*Показывает*). «Здравствуйте». Вот актриса, которая ему приелась: «Здравствуйте!» Вот, наоборот, актриса, которую он очень любит,

радуется ее успехам. «Здравствуйте!» И все это выразится в одном слове. Я начал свою актерскую деятельность с того, что появился статистом в опере Самосуда. Второй мой выход был в маленькой сцене, уже в Еврейском театре, — в качестве старичка на кладбище. Там я сказал целых два слова. Как видите, моя актерская жизнь началась на кладбище...

Смех. Он разворачивает еще одну записку.

(Читает). «Ваши взаимоотношения с партнером?». *(Сворачивает записку и кладет ее в карман).* Партнер для меня — это все. Я чувствую партнера не только по - актерски, нет, я чувствую его чувством моего героя... Предварительная договоренность с актером очень вредна. Я никогда не пойду к актеру и не скажу: вы мне в такой-то момент страшно мешаете, не делайте того-то или того-то. Всегда хочу найти способ естественного договора с партнером... Вот смешной случай. Была у нас актриса, травести, играла мальчика в «Колдунье». Я, Гоцмах, должен был ударить этого мальчика пониже спины, чтобы он поскорее принес мне деньги. Я выполнил указание режиссера, наверное, слишком усердно. Актриса побежала к помрежу и пожаловалась, что ей было больно. Помреж предложил ей прикрыть попку дощечкой. Я ничего не знал. Стукнул, как всегда и — а, черт! *(Трясет пальцами).* В следующий раз я ее шлепнул очень нежно. Так мы и договорились с партнером.

Смех. Из кармана вынута очередная записка.

(Читает). «Как вы строите мизансцену?» *(Прячет бумажку).* Мизансцена, вы это знаете, одно из средств нашего сценического языка. Помню первую мизансцену, мною постигнутую. Мой отец всегда ходил с палкой и, возвращаясь домой, каждый раз ставил палку в определенный угол. Отец умер, мать тосковала безумно. Прошел месяц, два, три, а мать все ищет чего-то, мечется. Бывало, подойдет к этому углу, как бы поищет глазами палку и уйдет обратно. Вот и вся мизансцена. Безмолвный язык театра... Теперь, скажем, мне нужно режиссерски осмыслить смерть еврейской матери, тоскующей по дочерям, оставившим родной дом. Это из «Тевье-молочника», вы поняли? Так вот, по автору, она больна и лежит в кровати. Но это быт, лишенный образного начала. Я позволил себе изменить ее клинический режим. Мать до последней минуты шарит по углам и умирает на пороге, на том пороге, через который переступили ее дочери, уходя в далекий мир. И порог этот получает образное осмысление, как будто она потянулась вслед за дочерьми, но, скошенная смертью, упала на пороге дома. Вот образные средства, к которым нужно прибегать, чтобы актер был не просто правдив, а правдив как поэт. *(Достает из кармана еще одну записку).* «Над чем вы работаете в настоящее время?» Хороший вопрос, я ожидал его. Постараюсь коротко ответить. Наш старейший еврейский писатель Давид Бергельсон написал для нас пьесу «Реубейни — принц иудейский». Я вижу на ваших лицах недоумение: вы, наверное, первый раз слышите это имя. Как и я, когда мы только начинали работу. Если бы вы открыли Еврейскую энциклопедию, то прочитали бы там: «Давид Реубейни — известный авантюрист, живший в XVI веке». Зачем же нашему театру создавать спектакль об авантюристе? Да потому, что этот человек решил, что он может и должен спасти свой народ от ассимиляции и вымирания. Представьте себе: средневековье, инквизиция, тысячи евреев обречены либо на гибель, либо на отказ от веры своих предков. Вот, например, начало будущего спектакля. Людей везут на корабле, чтобы продать их в рабство, а старых и больных выбрасывают за борт. «За что? За что?» — слышатся их отчаянные крики. «За то, что вы евреи!» — отвечает им капитан корабля. И вот нашелся человек, который решился бросить вызов инквизиторам и палачам. Это Давид Реубейни. И никакой он вовсе не принц, а выходец из пражского гетто. А выдает себя за принца лишь для того, чтобы войти в доверие к тем, от кого зависит судьба обреченных на гибель евреев...

Кто-то из зрительного зала подходит к сцене и вручает Ему записку. Он держит ее в руках, не разворачивая, и продолжает свой рассказ.

Реубейни удалось очаровать и папу Римского, и короля Португалии. Карательные меры против евреев были смягчены. Но Реубейни совершает роковую оплошность — признается любимой женщине, что он не принц, что эта маска нужна ему для спасения своего народа. Это становится известно его прежним благодетелям. Реубейни бежит в горы и поднимает евреев на восстание. Но стражникам испанского короля удается схватить лжепринца. Инквизиторы, торжествуя победу, сжигают его на костре... *(В зал)*. Что вы сказали? Да, роль этого великого человека — и героя, и авантюриста, попытаюсь сыграть я. Почему великого, вы уже поняли. Ведь история никогда не щадила мой народ и, может быть, он давно растворился бы среди других народов, не будь таких, как Давид Реубейни.

Разворачивает ту записку, которую Ему передали из зала. Читает про себя. Напряженная музыка.

Она. Это была та записка? Да, Миха? Они приехали за тобой?

Он кланяется залу, улыбается. Хотя звучат уже тяжелые, гнетущие слова некролога.

Мужской голос. Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР с глубоким прискорбием извещает о безвременной смерти в автомобильной катастрофе художественного руководителя Московского государственного еврейского театра, лауреата Сталинской премии...

Он улыбается и прощально машет рукой. Он а сидит, низко склонив голову.

...народного артиста СССР, профессора Соломона Михайловича Михоэлса и выражает соболезнование коллективу театра и семье покойного.

Долгая пауза. Его уже нет на сцене.

С той минуты двери нашего дома были открыты днем и ночью. Незнакомые и знакомые лица. Сергей Образцов, Илья Эренбург, Эмиль Гилельс, Козловский, Качалов, актеры... Запомнила высокого роста девушку. Она оказалась племянницей Кагановича. Главный еврей Советского Союза передавал свои соболезнования и просил нас НЕ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ПОДРОБНОСТЯМИ СМЕРТИ МИХОЭЛСА. Ему, наверное, все было известно. Да и мы понимали, что это самое настоящее убийство. *(Берет с книжной полки книгу, читает)*. Много лет спустя я прочла воспоминания дочери Сталина, Светланы Аллилуевой. Вот что она пишет: «В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то докладывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: «Автомобильная катастрофа». Я отлично помню эту интонацию, это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это, автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной, а через некоторое время сказал: «В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс»... Пятнадцатого января гроб с телом Михоэлса привезли на Белорусский вокзал. На площади вокзала необычная тишина. Десятки тысяч людей не нарушают ее. Гроб привезли к театру, но неожиданно для всех его не внесли туда... Мороз... Слезы замерзают на щеках. Около театра все время толпа. Начинается гражданская панихида...

Траурная музыка. Появляется Он. На плечах расшитая золотом королевская мантия, на голове корона.

Он. Я ранен так, что виден мозг.

Она. Король!

Он. Графиня! Астка!

...Не надо унывать.

Да, да. Ведь я король, не забывайте!

Вы помните ли это, господа?

Подходит к Ней, всматривается в Ее лицо.

Что это, слезы на твоих щеках?

Дай я потрогаю. Да, это слезы.

Не плачь!

Она подходит к Нему, снимает корону.

Она. С проломленным черепом ты лежал на углу Ульяновской и Белорусской. Из-под шубы торчали ноги: одна в ботинке с калошей, другая в носке. Посередине головы была глубокая дыра размером с пятерню. Губы ты сжал в какой-то горькой усмешке. А руки, твои руки, Миха, как всегда, говорили больше, чем любые слова... Когда открыли гроб, Маркиш воскликнул: «Смотрите, как сжаты кулаки. Значит, он понимал, что его убивают. Он защищался! Это убийство!»... Вспомнились твои слова: «защищать грудью» — это значит, защищаться последним, что осталось. Потому что первый жест защиты — руки, пальцы, протянутые вперед. Когда мозг посылает импульс, он шлет его в кончики пальцев».

Тихо возникла мелодия — скрипка.

Он (*прислушавшись к музыке*). Кол-Нидрэ...

Она. Пока шла панихида, какой-то старый еврей, забравшись на крышу дома напротив, играл на скрипке.

Он. Скрипач на крыше! Шагал бы с ума сошел от восторга! Кол-Нидрэ... Молитва эта, так считали наши предки, освобождает человека от ложных обетов и клятв. Играет-то как, душу надрыгает. Освободи меня, Господи, от грехов моих... (*Усмехнулся*). И как там панихидили меня?

Она. Я помню слово в слово.

Скрипка смолкает. Тихо звучит траурный марш.

Мужской голос (*скорбно и торжественно*). Черная весть о преждевременной кончине нашего дорогого Соломона Михайловича Михоэlsa болью наполнила наши сердца... Он был активным и разносторонним деятелем многонациональной советской культуры...

Он (*заложив в рот пальцы, свистит*). Чеши, чеши, подлец... Забыл, как в своем цековском кабинете выкручивал мне руки, кричал: «Вы не местечковый театр! Вы советский театр!»

Женский голос. Пламенный советский патриот, он был крупным общественным деятелем... Верный сын Родины, председатель Еврейского антифашистского комитета, член Комитета по делам искусств, член Комитета по Сталинским премиям, член Президиума Всероссийского театрального общества, член...

Он (*пританцовывая*).

Член, член, многочлен!

Член, член, многочлен!

Какая прелесть — побывать на собственных похоронах!

Мужской голос. Перестало биться его большое горячее сердце... Работники искусств склоняют свои головы...

Он (*приложив ладони к ушам*). Хва-тит! (*Тихо*). Расскажи лучше о друзьях. Как Зускин? Перед отъездом я просил его продолжать репетиции «Реубейни» с моим дублером.

Она (*после паузы*). За день до своего отъезда в Минск ты пригласил его к себе.

Он. Да.

Она. Усадил на свое место за письменным столом...

Он. Да, было...

Она. И сказал: «Вот здесь, на этом кресле, ты скоро, очень скоро будешь сидеть». Да?

Он. Откуда ты знаешь? Зуска проболтался?

Она. В тот день, когда нам позвонили из Минска... Он рыдал. «Неужели старик что-то предчувствовал?» — говорил он сквозь слезы.

Он. Нервы у него всегда шалили... Ладно, как прошла премьера «Реубейни»?

Она (*шепотом, ей трудно произнести эти слова*). Премьеры не было, Миха.

Он. Как — не было? Ты что? Зуска меня подвел, да?

Она. Нет Зускина.

Он (*смеется*). Что значит — нет?

Она. Арестовали и...

Он. Что?! Расстреляли? Зускина? Артиста — к стенке? За что? В чем его вина?

Она. А в чем твоя?

Он. Постой, на ком же театр?

Она. Театра нет.

Он. Оставь эти хохмы. (*Взвился*). Как нет? Ты понимаешь, что сказала?!

Она. Театр закрыли, Миха... Все опечатали. Твой кабинет, архив, музей... И к нам явились.

Он. Был... обыск?

Она кивает головой.

Он. В моей квартире?

Она. Все стены обстучали. Все вытрясли: твои заметки, письма, фото... Скоты, скоты...

Он. И что ж, ушли ни с чем?

Она. Да нет, нашли. Подпольную литературу.

Он. Шутишь! У меня?

Она. Да, у тебя. На верхней полочке, вот так...

Он. И что там было? Говори!

Она. Националистическая брошюра. «Еврейский вопрос в России».

Он. Черт побери, но автор — Ленин.

Она. Конечно. Да вот название крамольное. Антисоветское. Нет у нас еврейского вопроса и быть не может.

Он. И что же?

Она. Кон-фис-ко-вали!

Он. Придурки, боже! Безмозглые придурки!

Хохочут.

(После паузы). Черт знает что творится! А что же Еврейский антифашистский комитет? Молчит? Да? Неужели не мог Маркиш...

Она. Расстрелян Маркиш.

О н остановился. Начал понимать, что произошло нечто неслыханное.

Он *(уже тихо, с надеждой).* А Бергельсон?

Она. Тоже.

Он. Гофштейн... Фефер... Квитко... Шимелиович...

Она каждый раз наклоняет голову.

Она. Все, Миха, все... В одну ночь. Твоя смерть развязала руки убийцам.

О н сел в кресло, опустил голову на ладони.

Твоя смерть... Гоню эти слова, не верю, что тебя нет. Иногда ночью... слышу твои шаги за дверью. Ты хочешь войти... и... и... *(Плачет).* Нет, Миха, родной, я не плачу, нет. Я помню, ты сказал когда-то: если меня не станет и вдруг вспомнишь, что был такой-то, выпей рюмочку. Только без слез. И еще ты сказал: надо жить над ней, над смертью.

Музыка — трагическая тема. Может быть, Бетховен.

Он медленно снимает пиджак, сбрасывает галстук. Аккуратно складывает вещи у ног. Теперь он остался в белой, распахнутой на груди рубахе. Черные брюки схвачены широким кожаным ремнем. В облике его внезапно появилось что-то романтическое, гордое, высокое. Горят свечи, которые О н а тем временем зажгла. Музыку заглушает дробь барабанов, предвещающих казнь.

Он выходит на авансцену. Зарево костра полыхает за его спиной.

Когда меня с пробитой головой
Швырнули в снег,
Когда, рыча мотором, на грудь мою
Наехал «студебеккер»,
Я жил еще... И звезды молча
Глядели в незакрытые глаза...
Я был тогда уже не Соломон Михоэлс, нет,
Не главный режиссер театра,
Не депутат и не лауреат...
Я был тогда своей последней ролью,
Несыгранной, задушенной, убитой —
Я был Давидом Реубейни,
Лжепринцем, лжепророком —
Я только ложью разговаривал с лжецами.
Лжецы? Нет, волки, волки,
Которые преследуют меня
И мое стадо — мой народ!
Так думал я — в те куцые секунды,
Которые остались мне от жизни,
И минский снег был жгучим,

Как костер. И вдруг, как в детстве,
Разверзлись хляби, сверкнула молния,
И я услышал голос Бога...

*Погас свет. Запела скрипка. Возникло лицо Михоэлса в глубине сцены, освещенное бликами огня. Вышли Он и Она — сейчас они снова актеры. В их руках листы бумаги.
Замирает скрипка. Снова стучит машинка.*

Он. «Совершенно секретно. Экземпляр единственный, рукописный. Товарищу Берия Лаврентию Павловичу... По вашему требованию докладываю об обстоятельствах проведенной операции по ликвидации главаря еврейских националистов Михоэлса...

Она. 6— 7 января 1948 года я как заместитель министра госбезопасности СССР с группой товарищей: Шубняков Ф. Г., Лебедев В. Е. и Круглов Б. А. выехал на машине в Минск.

Он. Было решено Михоэлса через агентуру пригласить в ночное время в гости к каким-нибудь знакомым, привезти его на территорию загородной дачи министра госбезопасности Белорусской ССР тов. Цанавы Л. Ф., где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную улицу города и произвести наезд грузовой автомашиной.

Она. Операция проведена успешно».

Он. «Указ Президиума Верховного Совета СССР. За успешное выполнение специального задания правительства наградить...

Она ...орденом Красного знамени генерал-лейтенанта Цанавы Лаврентия Фомича. Орденом Отечественной войны 1 степени старшего лейтенанта Круглова Бориса Алексеевича, полковника Лебедева Василия Евгеньевича, полковника Шубнякова Федора Григорьевича.

Он. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин.

Он. Москва. Кремль. Публикации не подлежит».

Музыка. Перезвон курантов. Горят свечи. Из темноты сцены Михоэлс смотрит на нас.

Конец

